Алексей Макушинский. Новые стихи

Дождавшись варваров

Мы выжили. Уже весна,
песок и пыль на тротуарах,
и даль прозрачная видна
в проемах чудотворных арок.

Не слышно выстрелов, гремит
лихая музыка повсюду.
Недодобитых Аонид,
опять готовых верить чуду,

четырехстопный ямб, как встарь,
влечет и нежно оживляет.
Тепло. Бензиновая гарь
над городом тихонько тает.

И варвары проходят, не
дивясь, по набережной, мимо
все тех же сфинксов, в том же сне,
с улыбкою неисследимой

глядящих – прямо в никуда,
где вековые отраженья
не в силах унести вода,
в своем торжественном стремленьи.

И – эхо пролетевших бурь
(мы их, увы, призвали сами),
и флорентийская лазурь
над петербургскими дворцами.

Уходишь, уходишь в несметной толпе,
по улице, в никуда.
Здесь каждый, как мог, любил и терпел,
и шел сквозь *нет* и сквозь *да*.
Дорожных знаков, кружков и стрел,
лес. Шпили, и провода,

и светофоров изменчивые огни.
Все это здесь, сейчас.
Тормоза скрипят, и трамвай гремит –
скрипки и контрабас.
Знакомые тени стоят одни
у вечных концертных касс.

Так дни проходят, ночи спешат
куда-то – скорей, скорей –
и катится счастья стеклянный шар,
и каменный шар скорбей.
Но важно лишь то, что твоя душа
сквозь смерть говорит моей.

Мост

Его нет, когда мы летим по нему, он вдруг
становится, когда съехав с автострады, мы под
ним выходим из машины. Его
быки глядятся в воду, склонив
небо над нею.

Здесь, где римляне плыли на узких своих галерах,
мир превращая в город, где монахи варили пиво
и верили в Аристотеля, где купцы
из Киева торговали
мехами, рабами –

здесь холмы и долину берет он в свои бетонные
скобки, с тевтонской яростью перелетая
из прошлого в будущее. Река
оробев протекает сквозь
его отражение,

тихонько всплескивая руками своих русалок.
Он слишком огромен для этого мира. Сей горный
гул говорит не о прощенье и не
о любви. Валькирии мчатся
и Перуны проносятся

над нашими оглушенными головами, над ни
в чем неповинными вербами с их голубыми
и белыми кошачьими лапками на
воскресном, влажном,
весеннем ветру.

А.О.

Тосковать по тебе, целый день изучать расписанья
поездов, самолетов – которые в нашей судьбе
так участвуют, как в ней и боги, наверное, сами
не участвуют, что им до нас, тосковать по тебе,

и смотреть на белесое небо в осенних разводах,
и на мокрые статуи в парке, на этих беспечных богов,
что, конечно, свели бы нас вместе, когда б им угодно
это было, быстрее самолетов, скорей поездов,

и под сенью огромной, щербатой и матовой Музы
тосковать по тебе, не моля никого ни о чем,
вспоминая тот жар и тот взгляд, потрясенный и узкий,
твоих глаз с их тигриным, почти нестерпимым огнем.

То, что было жизнью, разыгрывается на сцене,
на полусветлой сцене, внутри нас, то, что
было жизнью, выходит на сцену из-за
смутных кулис, смеркающихся деревьев,
из-за колонн с огромным, за ними, небом,
свеченьем неба на заднем плане. Все это было
так незначительно и случайно, когда-то жизнью
все это было, наброском пьесы, куда-то шли мы
сквозь тень и солнце, скрещенье реплик,
сквозь ожиданье, всегда, иного, почти не глядя
на себя из будущего, не думая, что на самом
деле строим в себе эту сцену, где то, что было
жизнью, разыгрывается все снова и снова, те же
слова и жесты повторяются, с каждым разом
все отчетливее и лучше, как будто воздух
проникает в них понемногу, свеченье неба
переполняет их. Колонны стоят все так же,
и деревья не движутся, и те, с кем шли мы,
не двигаясь тоже, идут, уходят.

Где-то север, где-то Оять,
где-то Ладога, и Свирь.
Чтобы сердце успокоить –
синеглавый монастырь.

Там я ехал, там ты едешь,
там, все дальше, без меня,
там, где белые медведи
под уздцы берут коня.
Там текут живые реки,
льдам и снам обречены.
Там с кайлом ходили зеки,
дети ласковой страны.

Ходят люди, ходят тени,
ходят призраки и сны,
убиенных поколений
ходят гордые сыны.
Славной вохрою бессменной
восседают валуны.

Куполов сияет золото,
облаков горит рядно.
Будет музыкой когда-то
все вокруг озарено.
Будет словом все раскрыто –
в дивных отблесках окно –
будет золотом расшито
чистой жизни полотно.

Будет небо, будет нега,
будет воздух и простор,
с ползвуча, без разбега
самый главный разговор...

Из каких небесных ризниц
выходя на светлый двор,
будут все мгновенья жизни
на тебя смотреть в упор.
Все, что мы любили прежде,
будет снова, навсегда.
Неизбывнее надежды
эта серая вода.

Елец

За рекой начинается дикое поле,
где несметные призраки бродят на воле,
то ли половцев тьмущие полчища, то ли
окаянные души, что бродят на воле.
За рекой начинается дикое, дивное поле.

И не выдержать городу натиска – этим
деревянным, несчастным домишкам и клетям,
что охвачены ветром, как воплем и веком,
неизменным, степным и горячечным ветром,
без пощады бегущим по крышам, и клетям,
по несчастным деревьям, вон тем и вот этим.

Это я здесь иду, среди душ проходящих,
за собой не зовущих, незрячих, незрящих,
среди страхов и криков, как в рощах и чащах...

Все же счастье поет среди пыльных развалин,
что не сжег печенег и татарин оставил,
богдыхан не заметил за выделкой стали –
потому что я здесь, потому что печален,
потому что смотрю в эти грозные дали,
из которых я сам, где меня не поймали.

А Елец не елейный, Елец не келейный –
кособокий, зеленозаборный, согбенный,
побежденный, прекрасный, забытый, блаженный,

где тюрьма на горе и расстрельные стены,
под которыми бьют и в чужих, и в ничейных,
все палят и палят и в своих, и в ничейных,
из «Максимов» палят, да из ружей линейных,
из винтовок в рябые, расстрельные стены,
под прощальным закатом, вскрывающим вены.

И куда же вы, души, куда же, куда же?
Умирая в неволе от боли и жажды,
умирая на воле от кривды и тяжбы –
кто вас гонит, скажите, куда же, куда же?

Только церкви встают среди хлева и хлама,
не избегнув судьбы, не сдержав Тамерлана,
и остатки пронесшегося урагана
полыхают, как рана, не ведая срама,
да мерцают иконы в безлюдии храма.

Элегия

Покидая город, в котором
ты не был счастлив, включаешь
в машине радио. Саксофон
провожает тебя в последний

путь по еще привычным
улицам, мимо знакомых башен –
и ввинчивается в клокастое
небо над крышами, в не-

здешнее небо над россыпью
светофоров. Прощай же,
прелестный город, в котором
я счастлив не был. Прощайте,

булыжные улицы с желобом
посредине, и ты, дремучий,
двуглавый собор со всеми
твоими химерами, ты, река,

стеклянный рев плотины, и те
аллеи, в которых моих шагов
остается шелест. Я все-таки
жил здесь, ходил здесь, в этом

покидаемом *здесь*, я здесь
был моложе, я знал
дружбу здесь – и узнал измену
друзей, я вблизи и ближе

видел, с тазиком и шприцом
в недрожащей руке, у края
больничной койки, с чужой
и милосердной улыбкой, смерть.

Покидая город, в котором
ты счастлив не был, включаешь
радио. Все случайно
в жизни, в общем, как эта

музыка – мог быть Моцарт.
Лишь саксофон продолжает, то
почти затихая, то вновь взрываясь,
в нездешнее, над домами,

над железной дорогой, над белыми
ангарами магазинов – ему
не внемлющее, кто знает –
небо ввинчиваться. Большие

лица реклам тебе смотрят
вслед, и прогорклым маслом
пахнет, у самого выезда
на автостраду, «Макдональдс».

Разговор с философом

Мы все стремимся к тому, что на самом деле есть, говорит он, чуть-чуть шепелявя, как все греки. Только где оно? Где оно? В парке, где мы сидим с ним, туман стоит за деревьями, светясь на солнце, и купола, и шпили в осеннем небе видны так ясно, словно кто-то нарисовал их две минуты назад, и сверкая на солнце, вода из чаши фонтана спадает в другую чашу, и очень черная, не очень большая, на ободке верхней чаши, ворона плещет крыльями, и брызги тоже вспыхивают на солнце. По-прежнему шепелявя, произносит он большие слова, бытие, и познание, и прочее. Большие, пустые сосуды. Но он прав, и есть страсть в его голосе, и мы все стремимся, в самом деле, к тому, что на самом деле есть. Только где оно? Где оно? Мы уйдем из парка, и брызги погаснут, говорю я. В какой Элладе искать его? Какое солнце должно быть? Какие тени на обезумевшей белизне? Парапет и море за ним? Только боги безгрешны. Без Греции – грешные мы. Никакой нет Эллады. И значит, остаются воспоминанья, остаются, конечно, слова. Остаются статуи слов на террасе, их синие тени, остаются, говорит он, шаги, приближение смысла...

Веденец

Венеция, Веденец, весть воды...
Венеция, видимость, все неправда
в тебе, Венеция, весть о том, что
когда-то было, прошло, пропало,
как разошедшиеся следы
за вапоретто, о том, что толпы

туристов ищут, галдя и глядя
на маски, майки в витринах, сами
уничтожая все то, что ищут.
Венеция, Веденец, голосами,
всегда звучащими где-то рядом,
шагами, шепотом, глуше, ближе,

ты окружаешь нас, как судьба
нас окружает, или эпоха,
где тихо тянется твой конец.
Закат, забывшись, глядится в окна,
волна рассчитывает удар
о пристань. Веденец, леденец,

смываемый морем, уже не сладкий,
анисовый вкус на губах у горя,
всегда всамделишного, кто б ни
шел с ним под руку мимо Torre
dell' Orologio, кто б на San Marco
ни выходил с ним. Мы здесь одни

в толпе, во времени, в тонком свете.
Венеция, Веденец, веди, буки...
Глагол добро есть. Твои дворцы
в строке канала стоят, как буквы,
и блики солнца бегут, как дети,
венетианские сорванцы.

И все неправда в тебе, все только
обман, глядящийся, повторяя
себя, в прозрачную темноту.
Венеция, не виденье рая –
пусть не благая, скорей блажная, –
но весть, ведущая нас по кромке
воды, по выгнутому мосту.

Возвращение в Вормс

Возвратиться в город, где год назад
был не то, что счастлив, но был спокоен,
и свободен, и не думал о том, что будет
через год – и чего не будет, кого через год не будет,

и гулял по еврейскому кладбищу, где записки –
Богу прижаты камнями к тоже
камням, стоящим, к надгробиям знаменитых
раввинов, и прочитаны непогодой,

превратившей их в плотную массу, вроде
творога или брынзы, с буквенными следами,
вот бет, вот алеф. Овечье стадо
могил уходит к Ерусалиму. Нельзя готовить

ягненка в молоке его матери. Так мы кружим
вокруг того, что сказать не в силах,
и написать не можем. А Богу наши
и не нужны, наверное, буквы. Вот эти камни

и есть, кто знает, у Бога буквы, кто знает, эти
мохнатые корни, лезущие на стену
и волю, суть корни слов, которые ты там слышишь
и понимаешь, а я не слышу. Но возвратиться,

еще раз, в город, где год назад был
почти что счастлив, зайти еще раз
в собор, и оттуда на кладбище. За стеною,
с ее корнями, и за железной дорогой – склады

друг с другом соперничают в безликом
уродстве, и поезд идет, как всегда, в былое
и будущее одновременно. Ягненок смотрит
на мать, не веря, что той не станет,

они же верили в воскресенье, правда
верили в воскресенье, и рабби Меир
бен Барух, и рабби Яков Халеви,
и что в Судный день, разбуженные, пойдут

по этим улицам, мимо этих башен и этих
кафе, отражаясь в витринах, вон к тем
каштанам и дальше, покидая город, в котором
лишь пустая машина ждет меня на стоянке.

Moscow revisited

В основном все как было – бессолнечные дворцы.
Сколько-то новых башен прибавилось к Вавилону.
Орфей все ищет свою Эвридику в аду метро,
среди серых толп, уезжающих в вечный скрежет.

Прекрасна, конечно, осень, покойный свет.
Осень ведь всякий город делает захолустьем.
Тишина проступает сквозь крик и грохот,
как пятно от лампочки проступает на абажуре.

Здесь кровь сочится из-под камней, здесь дядя
Джо шевелит усами кремлевских стрелок.
В пустыне окраин океанские корабли,
светясь, проплывают фатаморганой. Как же

все это хочет – быть, и не может, стремится – быть,
и не может, старается, безуспешно.
Отраженья в реке убедительнее домов,
отраженных в ней, с их шпилями и гербами.

Но прекрасна, еще раз, осень, огромное захолустье,
всякий раз побеждающая столицы, и эту тоже.
Аллеи бульваров уходят в совсем другую
перспективу – то ли в прошлое, то ли в самих себя.

Что бы ни было в жизни, ты вечно будешь
сидеть под тем абажуром, давно истлевшим.
Те, кого ты не встретишь, идут здесь тебе навстречу,
и время поет свою песню под шелест листьев.

Кассидий

Все так ясно видишь сразу после
купленных утех, в четвертой книге
«Комментариев», совсем внезапно,
говорит Кассидий. Между миром
и тобой, на миг, твое желанье

не стоит. Ты смотришь прямо: вот он,
мир. И, говорит Кассидий, горек
взгляд твой, этой горечью – отраден.
Люди здесь проходят пред тобою,
люди, лица, то есть складки кожи,

и морщины, говорит Кассидий,
кадыки, чудовищные шеи,
под глазами бряклые мешочки,
то есть вислые зады и груди,
на ногах прожилки и мозоли.

Все хотят чего-нибудь другого,
говорит Кассидий. Все несчастны.
Страсть их гонит, страх и ожиданье.
Ты жалеешь их, ты видишь ясно
их скелеты в будущих могилах,

черепа с бездонными глазами.
Вечер между тем уже ложится
на ступени храма, затихает
форум, из метро несется влажный,
затхлый запах, пьяница привычно

жизнь бранит. А там темнеет небо,
нежною, глубокой синевою,
и печаль рыдает в переулке,
и мечта идет на приступ счастья,
что над ней, с высот своих, смеется.

Ветки

Тени веток на стене огромной церкви,
где-то в Мюнхене, колеблемые ветром.
Очень холодно, разорванное небо
светится над крышами, не слышно
ничего, лишь звук шагов, моих же.
Я бы счастлив был, когда бы верил
в Бога так, как верят эти ветки...

О.Е.

Все-таки есть и чужие стихи, ты не
совсем одинок на вдруг зазвучавшем свете.
Кто-то увидел тоже, в другом, но похожем сне,
эти ночные дороги и горы эти.

Дальнего зарева пойманный отблеск, взгляд
из окна вагона в дивную глубь ландшафта.
На краю обрыва деревья всегда стоят,
как могут, не рассчитывая ни на какое завтра.

Как хорошо! Какой наступает вдруг
покой. Словно проснулся в другом, позабытом веке.
От строк и от век твоих на мгновение бежит испуг.
Декабрь стоит за окном, все в инее, крыши, ветки.

Вдруг, на миг, из облаков –
солнце, сноп холодных искр.
Так внезапно из-за слов,
окончателен и быстр,

смысл является, и мы –
каждый посреди своей
собственной, большой зимы,
ледяных и снежных дней –

изумленные стоим,
этим смыслом не согреты,
но зажмурившись от света,
побеждаемые им.

Новое солнце

Всё это мчится, несется, стремится,
люди летят, пролетают их лица,
страстью и яростью искажены,
что-то ужасное хочет случиться,
сбыться стараются худшие сны.

Слов очень много, слова отовсюду
лезут, не веря ни смыслу, ни чуду.
Рифмы взрываются, им все равно,
значит ли что-то их звонкая удаль.
Горе беззвучно ложится на дно.

Как это было, не спросит потомство...
Только в чердачное, где-то, оконце
луч залетает, не зримый с земли.
То начинается новое солнце.
Новое солнце восходит вдали.

Всё еще так же, все еще то же,
свет беспросветен и воздух ничтожен.
Всё ни о чем говорят города.
Тени, и той не оставит прохожий,
вечно идущий в свое никуда.

Но уже есть это солнце, о коем
мир и не думает. Тайным покоем
нас одаряя – все-таки есть,
скрытое дымом, и воплем, и воем,
новое солнце, грядущая весть.

Попугай

У Гумбольта описан попугай,
в Америке, конечно – в Южной, в джунглях
таящийся и помнящий слова
на языке племен, давно погибших.
И значит – что же? Значит – все прошло,
прошли вожди и воины, цари
и царства, боги умерли, лежат
в развалинах их брошенные храмы,
легенды и преданья позабыты,
героев нет, красавицы истлели
в земле, навек рассыпались их бусы.
И только попка, старый и большой,
в зеленых перьях, с наглым желтым клювом,
все помнит, и слова на языке
исчезнувшем звучат в нем ясно, гулко,
как, вот сейчас, по улице шаги,
в осеннем мраке. Вдруг взлетает он,
и медленно, все выше, поднимаясь,
от ветки к ветке, где-нибудь на самой
вершине леса, тяжело садится.
Здесь все иначе, время здесь неважно.
Былое и грядущее под ним
вздымаются могучими волнами.
Лазурь небес прозрачна и легка.
Слова его разносятся над миром
торжественной, таинственной вестью,
немой для копошащихся внизу,
и все же внятной им, как весть шагов,
по улице все дальше уходящих.

Перекресток

Порядок движенья, прямо или направо – на зеленый свет, но те, что хотят налево, пропускают встречные машины. Затем загорается стрелка, не успевшие повернуть поворачивают, намечается тот пунктир, которым, в школе вождения, прочерчивают дугу поворота. Затем все то же, но из другой улицы, пересекающейся с первой. Порядок, вообще, успокаивает. Окно разрезано белой рамой. Перекресток и крестовина. Белая церковь за белой стеной пожарной части, дальше, справа – дома. Дома построены явно после войны, но сразу после, то есть, в общем, бараки, бледно-болотные или бледно-розовые. В одном – магазин электрических и электронных товаров, компьютеры, вентиляторы, пылесосы. Пешеходов нет. На автобусной остановке, женская согнутая спина. Безлиственные деревья, тени их на асфальте. Порядок теней успокаивает, разумеется, тоже. Светофоры переключаются, машины без водителей и пассажиров, но каждая со своей тенью, едут и тормозят, повторяя одну и ту же схему, направо, прямо, налево. Что за этой картиной? Быть может, тот, кто смотрит, смертельно болен, или несчастен без всякого повода? Мы никогда не узнаем. Мы видим лишь перекресток, разрезанный белой рамой, и бездонное злое небо.

В том городе были – бывали – сумерки
совсем сиреневые, как будто
Моне писал их; осенью, поднимаясь

над крышами, на востоке, дым сахарного
завода отсвечивал всем, что с запада
светило в него, всем розовым,

лиловым, красным, и казался, по прихоти
ветра, то вопросительным,
то восклицательным знаком над

улицами и жизнью. Мне нравилось
смотреть на город, вечером, с одного
из островов на реке, откуда

он был виден весь с его башнями,
зубцами стен, черепицею крыш, повернутых
каждая в свою сторону.

Было тихо на острове, дальний шум
машин на мосту почти не
напоминал о настоящем. Река

повторяла что-то свое, понятное только ей.
Я прожил в этом городе пять –
худших – лет моей жизни.

18 мая 2007

Попробуем быть счастливыми, выйдем где-нибудь,
рано утром, в городе, где с тобою
мы до сих пор не бывали, на улицу или площадь,
с гусиной кожей теней и большим фонтаном.
Попробуем быть счастливыми, здесь, с тобою.
Пусть часы разбивают время, и смерть химерой
глядит с собора – мы все-таки не одни здесь.
Потому что тени и призраки где-то, я знаю, рядом.
Потому что души летят нам навстречу, легки любовью.
Потому что ангелы смотрят сверху
на те же красные крыши, лотки с черешней.
И солнце серебряные монеты
бросает в реку, чтобы еще вернуться.
Все дороги ведут домой, говорит Новалис. Все улицы,
наверное, тоже.

Мюнхенский дневник

Представь себе, как это было впервые.
Конечно, все было не так, но представь
себе, что кто-то однажды дал
дням числа, как бы их имена. Какой вдруг
восторг охватил его, он вскочил,
наверное, на ноги, в своем Вавилоне или
в своем Египте. Он сказал себе: пусть
дни проходят, но числа ведь остаются,
и значит все не так уж и безнадежно.

Приветствую тебя, мой давний брат,
не победивший время, но крепость все же,
но все ж фортецию поставивший ему.
Ты так в ней и сидишь, счисляя звезды,
сидишь, сейчас, в давно прошедшем дне,
укрытый в нем какой-то цифрой, нам
неведомой, как я укрыт двадцатым февраля
две тысячи восьмого года (ветер, ветки).

Здесь, в книжной лавке, где я перелистываю
посмертный дневник Эудженио Монтале
(прообраз моего, прижизненного? нет, разве
отчасти), здесь было бы тихо, если бы
под окнами, в оранжевых фуфайках, рабочие
не клали асфальт. Ужасен их труд и жребий.
Ужасен шум их жизни, такой далекий
от тишины этих слов на белой большой странице.

История не закончилась, но смысл ее погиб.
Он бился в судорогах на цементном полу,
он закрывал руками затылок. Затем, когда мы
вышли на улицу, там оказалось солнце,
лазурь и ветер, и мифология облаков,
и чудные желтые листья, летящие по бульвару,
и даже намек на счастье, за краем жизни.

Из окон поезда видишь молчащий мир,
видишь молчанье полей, молчанье
леса на горизонте, клубящееся свечение
неба, два дерева, замершие под ним.
Природа есть одиночество. Нет, вернуться
скорее в город, выйти на главную улицу,
на Мариенплатц, на Максимилианштрассе,
туда, где, по крайней мере, ответ возможен.

Бессонница оставляет тебя умирать
от жажды, не у ручья, скорее на берегу
очень соленого, мертвого, в общем, моря.
Ты бы и бросился в воду, заснул бы, если б
мог напиться, но напиться нечем. Песок
полыхает на солнце, в дрожанье зноя
жизнь проплывает бездарной фатаморганой.

В их лицах все уже есть, вся скука
их грядущей жизни, хотя еще ни
одной морщинки. О чем-то они толкуют,
толкаясь в автобусе... Грехопаденье
было, должно быть, таким громадным,
что даже звезды на небе содрогнулись.

И когда мы лежим обнявшись,
мир кажется вынесенным за скобки
наших тел. Вот так же нет его на странице,
исписанной прозой или стихами. Белые
поля отделяют нас вдруг от мира, сонный
Элизий, облачные пространства,
где следы наших мягких шагов, незримые, остаются.

Ты научила меня чему-то, чему названья
я не знаю. А жизнь ведь и вообще состоит
из безымянных вещей,
из поворотов души, за которыми
открываются, как в парке, тропинки или пруды
с ротондой на берегу. Вот туда-то,
сквозь солнечную рябь, и пошли мы.

Голоса в трамвае охватывают меня.
Один из тех дней, когда я не знаю, что мне
делать с моей свободой. В окнах
проплывающих мимо домов проплывают
другие дома, их крыши, фронтоны, трубы,
их мертвые окна, лишённые отражений.

Парк, в самом деле, есть перевод души
на язык деревьев, прудов, тропинок,
и этих гнутых мостиков, где, склоняясь,
мы видим среди перевернутых
ветел и в облачном свеченье свою же
изумленную голову. Щепки, веточки,
листки плывут сквозь нее, как дни
сквозь то неизменное, что мы зовем собою.

Стансы

Какое дыханье у этой страны,
послушай – дыханье какое.
Дыханье, которому обречены
и души, и слово живое.
А поезд проехал уже Бологое,
и сосны мелькают, как старые сны.

Великая степь, необъятная сушь,
Китай скитанья в Европе,
империя засух, монархия стуж,
без гатей неправые топи.
Я в тамбуре еду, я чаю не допил.
Мелькание сосен, мелькание душ.

Дыханье, дыханье у этой страны...
Как дышат огней океаны,
как дальние замыслы обнажены.
Беглец, возвращенец незванный,
куда-то я еду сквозь серый и рваный
размах начинающей плакать весны.

Твердишь, забываясь, про веру и Тверь.
В Твери, где скрывался отец мой,
отбыв свою ссылку... Безмерная серь
и ширь обступают нас с детства.
И некуда, в общем, податься и деться
от этого счастья и этих потерь.

Громады Батыевых орд бытия,
пол-Азии возле вокзала.
Куда-то я еду, наверное – я,
все было, прошло и пропало.
И все начинается, знаешь, сначала,
как воздух, и воля, и век, и земля.

Дижонская живопись

Дижон ждет герцога, а герцога, конечно,
нет, и не будет, и не может быть.
Упрямо и надменно костенея,
Дижон ждет герцога, а герцогство погибло

давным-давно, все изменилось, мир
не узнает себя под новым небом.
Но он все ждет, безводный, бездревесный,
сожженный ожиданьем, серым солнцем,

сверкающим на плитах. Все фасады,
дворы, решетки, ставни, вензеля
и львы, и камни все, белея белизной
невинности и смерти, ждут, все ждет.

(У входа в засыпающий музей
засох колодец, лишь, на дне его, монеты
поблескивают тускло...). Жениха
загробная невеста ждет вот так,

всей вечной верностью, всей вечностью терпенья,
молчанья и любви.

Вдруг он въезжает со своею свитой.
Кто? Герцог? Герцог. Герцог на коне.

Филипп ли Добрый, Карл, быть может, Смелый,
издалека не разберешь, он едет, тихо,
и горестно, и гордо глядя на
ликующие толпы. Все бежит,

все оживает, все фонтаны бьют.
Все красное и синее, плащи
и шляпы (с перьями, конечно), все кричит.
И вот я сам, придворный живописец,

в углу картины, человек в толпе.
Лишь взгляд мой выдает меня, я вижу
углы, и линии, другие перспективы.
Толпа теснит меня, а все ж вокруг так много

внезапного пространства, дальних планов,
и облаков, как будто кто-то сверху,
не удивляясь, смотрит на все то, что
сбывается, так просто, здесь, сейчас.

Адольф

В шесть лет моя любимая игра
была «в Адольфа» (Гитлера, конечно).
Я знал, что он злодей, что самый главный
«фашист». И потому играл в него – на зло
несчастливым, ужасающимся взрослым.

Война закончилась тому назад лет двадцать,
чуть больше, но еще воспоминанья
кровоточили. Я звонил ему
по черному большому телефону,
болтая, разумеется, ногами,
еще не достававшими до пола.
Я говорил, как взрослые: «Адольф?
Ну, как дела сегодня, хорошо ли
ты спал, мой друг?» Затем я становился
Адольфом сам. «В Берлине все прекрасно».

Так я входил в историю, так падал
во время. И значит зло меня уже манило,
я с ним заигрывал, уже ему в глаза
старался заглянуть. Я не был злым
ребенком, но соблазн уже бродил
во мне, по жилам, быстрою усмешкой,
щекоткой счастья.

Были за окном,
я помню, ветки, вечный шелест их...
И тени проходили сквозь меня,
я их не чувствовал, но тени проходили,
сгущались, двигались, железо скрежетало,
и солнце бомбой падало на землю.

Слова, солдаты

Слова – солдаты, им любо стоять во фронт,
как на сенатском снегу. Впрочем, стоять недолго.
Что-то должно начаться, парад, поход ли,
должно случиться, пушки уже палят,
и литавры грохочут солнечным смелым блеском.

Слова – солдаты, они заступают слева,
ровняя строки, им весело, им нестрашно,
и трубы поют над ними, и ветер гудит в деревьях,
и облака несутся наперегонки друг с другом,
и времени очень много, время до скорой смерти
длится, в каждой строке, не думая о последней
точке, которой нет, которой и быть не может,
но есть лишь это движенье, поход, парад ли,
это большое движенье, растущее с каждым словом.

На Кампо ди Фьори

Памяти Чеслава Милоша

И я был на Кампо ди Фьори,
где сожженный Джордано Бруно
стоит посреди веселой
и очень живой толпы.
Здесь так же торгуют рыбой,
фруктами и цветами,
как торговали, едва лишь
после казни погас огонь.

Ты вспомнил о нем в Варшаве,
в великом стихотвореньи
сорок третьего года,
глядя на карусель,
кружившуюся так славно
под бойкие звуки польки,
что заглушала залпы
за ближней большой стеной

гетто. На Кампо ди Фьори,
когда кончается рынок,
водою из черных шлангов
торговцы смывают сор
времени и страданья.
От тех сожженных и этих
ничего не осталось, кроме
памятников и слов.

Об одиночестве в смерти
ты думал, глядя, как пары,
прижавшиеся друг к другу,
взлетают в небо, смеясь,
как хлопья сажи из гетто
приносит весенний ветер,
и кто-то их лихо ловит,
как бабочек, на лету.

От этих-то что осталось?
Они ведь сгинули тоже.
И одиночество в смерти
настигло их без труда.
Таверны еще открыты,
и пиццу с фрутти ди маре,
ни в чем не повинный немец
запивает алым вином.

Слова приходят оттуда,
куда каждый уходит молча.
Язык наш чужд уходящим,
и слов у них нет для нас.
А все же слова приходят,
бесстыдно и беспощадно,
мы ловим их – хлопья сажи
на пересохших губах.

И что же мне делать с ними?
Ты видел, а я лишь помню,
сидя на Кампо ди Фьори
мартовским мирным днем.
Дома обступают площадь,
и залетевши с Тибра,
одна голодная чайка
кружится и кричит.

Джордано стоит, надвинув
капюшон на глаза – он видит
другие миры, их много,
их непостижима связь.
Огонь, взлетающий в небо,
смеется, бьется, ярится.
Ведь Кампо ди Фьори всюду,
всюду и навсегда.

Три камня

А.О.

Три камушка, поднятые тобою,
на берегу зеленой реки, когда ты
там сидел с Александрой, мы знаем имя,
в счастливый, летний, куда он делся?
день, не спрашивай, мы не знаем,
где он, но где-то он есть, должно быть.

Три камня, подобранные тобою –
мы смотрим теперь на тебя, как ты на
наши линии, крапины, наши пятна
и письма. Ты думаешь, как бы
прочитать нашу весть. Ты берешь нас
в руку, согреваешь в ладони, ты нас

подбрасываешь, сколько хочешь
подбрасывай, нам не больно, нам даже
это нравится. Ты слушаешь сей сухой
стук, к которому мы привыкли,
который нам музыка. Твои пальцы
знают нас лучше, чем ты нас знаешь.

Ты думаешь о твердом и мягком,
о китайской, якобы, мудрости – надо быть
твердым внутри и мягким
снаружи. Это так, ты думаешь,
и не так. Ты думаешь о смягченье
сердца, без которого нет стихов.

Мы же думаем свои мысли, слишком
сложные для тебя. Ты думаешь
о том, что внутри нас, о неизвестных
странах внутри нас, где тоже реки,
где тоже двое, в счастливый, летний
день, сидят, обнявшись, у быстро-зеленой

воды. Вода несется через пороги,
вода приносит другие вести,
стихи набегают на низкий берег,
в них снова слышится Александра,
мы знаем имя, три камня, что ты
выбранный нами, выбрал из многих тысяч.

Из «Мюнхенского дневника» (часть вторая)

Ничего еще не закончилось. Новый век ходит по улицам, заглядывая в витрины и лица. Он пытается к ним привыкнуть, но привыкнуть не может. Он уже не младенец, уже мальчишка, уже начинает думать и удивляться. А все ведь и вправду странно. Странно, что все продолжается, как ни в чем ни бывало, продолжают улицы, даже сны, старые страсти, глупости и надежды. Вдруг небо густеет, он прячется от дождя под аркадами, он слушает шелест капель в стократно зеленых от влаги июньских листьях.

Утешительный город, мосты его и трамваи... Полуиталия, значит – возможность счастья. Ангел мира, взлетающий над рекою, помнит, конечно, руины, обугленные дома. Все это светится и ничего не хочет, ни от живых, ни от мертвых, ни от века, ниоткого. Необязательность жизни, отблески, тени, блики. Мягкий певучий воздух, горы на грани зренья.

Здесь, где город кончается, на мосту, видишь, с одной стороны, дома, и башни, и шпили, и много еще всего. Ничего не видишь с другой. В другую повернувшись сторону, видишь одну лишь реку. Видишь ее излучины, отмели, камни на отмелях, видишь ее стремнины, и эту немую даль. Вот так я стоял над Свирью. Откуда она течет? Из каких пространств? Из какого прошлого? Так равнодушно течет она. Из какой чужбины и родины? Степь и глушь всегда, разумеется, рядом, Евразия за углом.

Глаза его маслянисты и лживы. Никакой он, небось, не нищий. Но все, чего он желает, проходит мимо. Какие проходят груди, какие попки, как колыхаются бедра, жизнь невыносима.

И богатство проходит мимо, богатство, вовсе
не замечая его, уезжает на «Ягуаре».
Улыбки проходят мимо, слова и взгляды.
Потому он беден. Он сидит на своей картонке,
совсем не Будда, под языческим ясным небом.

Настоящей жизни уже точно не будет – пусть.
Пусть продлится еще вот эта, хотя бы эта
ненастоящая жизнь. Вот эти велосипеды,
свалившиеся от ветра, упавшие друг на друга.
Как топорщатся их рули, вращаются их колеса.
Все, конечно, не так, но лишь бы еще продлилось.

In angulo cum libro... Конечно, слова, слова
на чужой бумаге, чужие, неважно, чьи-то,
на чужом языке, пускай, но важно, что – вот,
слова. Все очень просто, все
загадки разгаданы, сомненья разрешены.
Cum libro in angulo... Свобода, слова, никто
сидит, не сидит здесь, точно не ты, вот эти
только слова и есть, на чужой бумаге, твои же.

Прежде поезда на станцию входит ветер,
ветер взметаает прически, платки и мысли.
Где-то над нами сияет, быть может, солнце,
но здесь внизу только ветер, несущийся из туннеля.
Все очень обыденно, никаких, дружок, аллегорий.
Мы просто сейчас доедем до станции «Одеонс-
платц», и выйдем на улицу, где солнце бежит по кронам
деревьев в Дворцовом саду и в Английском парке.
Вон там, смотри, Аполлон, вон там его колесница.

Повторяются улицы, повторяется тишина.
Все какое-то брошенное сегодня, дома и мысли,
какое-то отвернувшееся. Все было
когда-то новым и когда-то впервые, когда-то –
было. Бывшее все стоит
посреди настоящего, не становясь им, разве
дождь пойдет, наконец, будущее настанет.

Ничего прекраснее поезда, летящего в глубине

улицы – как внезапно он возникает
из-за домов, не упевающих удивиться.
Поверх всего и всему же наперерез,
ни с чем не соизмеримый, слишком
большой и быстрый в медленном мелком мире,
несется он, отменяя шаги и мысли
прохожих, отменяя машины, кафе, деревья,
сохраняя все это, в перевернутой глубине,
куда мы смотрим из его же окон, с другой
стороны бинокля, на миг, из другого времени. Весть
неизвестно откуда, из небывалых стран,
раскаты дальнего грома, Зевесов зов,
которому мы не верим, боимся поверить, разум,
упорствует, сомневаясь, но – вот он, вот он,
несомненный, как лучшие наши строки,
неотменяемый, как удачнейшие слова,
вот он, разбойным свистом сотрясающий виадук
и воздух над виадуком. Солнце лишь неподвижно.

Одна душа

У моего прапрадеда была
(я вычитал в архивах) в Костромской
губернии, при Николае Первом
(в конце сороковых или в начале
пятидесятых, может быть, годов) –
тридцать одна (конечно: крепостная)
душа. Тридцать одна – не тридцать. Тридцать душ –
все с ними ясно. Тридцать душ пахали,
пололи и косили. Но – одна?
Одна душа – что делала? Одна
душа есть тайна. Я о ней все снова
и снова думаю. Одна... душа...
Она из этих слов как будто смотрит
и говорит мне что-то... Прежде чем
в отставку выйти, кажется, служил
в полиции, о ужас! мой прапрадед.
Был даже раз отмечен государем
за то, что при каких-то торжествах,
в Москве имевших место, обеспечил
порядок образцовый. Был, должно быть,
суров мой пращур, правила имел,
усат был, к супостатам беспощаден,
царю служил за совесть, не за страх,
карал крамолу быстро и жестоко,
не сомневаясь и не рассуждая.
А впрочем, он мог быть совсем другим,
мог добрым быть, или несчастным, мог
быть пьяницей, картежником. Никто
уже не знает, что он был такое,
Игнатий Макушинский, костромской

помещик и московский полицмейстер.
Был человек, конечно, небогатый
(тридцать одна душа – совсем немного,
богатство начиналось, говорят
историки, в ту пору душ со ста,
по меньшей мере...). Впрочем – все равно.
Не в нем здесь дело, но – в одной душе.
Которой ведь и не было, наверно...
Ведь это только цифра, говорю я
себе, игра двух цифр и все тут, никаких
загадок, никакой такой отдельной
от всех души. А все ж воображенье
волнует этот звук – одна душа.
Одна душа... быть может, та, которой
я не нашел на свете, или может
быть та, что незаметно поселилась
во мне, с моей в соседстве, с ней сдружившись,
томясь по прошлому, в мою перетекая.
Она и есть моя душа, конечно,
Психея, пленница, из крепостной неволи
стремящаяся вырваться – куда-то,
куда-нибудь, в другие времена,
иль в чистый горний свет... Осенний день
за окнами раскрашивает липы,
проходят призраки, легко, сквозь тень и солнце.
Никто не знает, кто он и откуда.

Элизий

Я посетил тебя, пленительная сень...
Боратынский

Страшный мир вокруг земного рая.
Но мы все же едем, все же едем.
Страшный мир, мятущиеся толпы,
электрички, лагерные лица.

Все же оставляет на платформе
поезд – нас, как тридцать или сколько
лет тому, в смыкающейся, той же
тишине, где звук его смолкает,

медленно, за дальней темной рощей.
Вот он, рай, мой рай первоначальный.
Мокрый рай, простуженный и нищий.
Вот они, заборы и калитки,

лужи, ветки, крыши дач продрогших,
палых листьев волглое скольженье
под ногами, помнящими каждый
поворот дорожек и тропинок.

Но душа молчит, ей нету дела
до того, что происходит в жизни,
вот сейчас, с тобою, в мире этом.
У нее ведь есть воспоминанья,

неизменные, не знающие страха.
Что ей это мертвое сегодня?
Ты идешь, скользишь, ты смотришь, ясным,
равнодушным взглядом на все то, что

не вызывает, не кричит, что – вот он,
он – вернулся, он идет по этим
сквозь всю жизнь протоптанным тропинкам.
Все молчит одним большим молчаньем.

Не скрипят калитки, не выходят
даже тени из-под мокрых веток,
слишком сер, должно быть, влажный воздух,
призраки прозрачней, их не видно.

Здесь следы ведь не твоей лишь жизни.
Здесь ее участники, которых
ты осенним днем уже не встретишь,
продолжают все свои прогулки,

бесконечные ведут беседы.
Никогда им не договориться,
не сойтись во мненьях, но – неважно.
Все, должно быть, всех давно простили.

Спутница твоя им не знакома.
Они смотрят, верно, с любопытством
на нее сквозь мокредь и сквозь время.
Если б знак они тебе подали...

Подаянья, в сущности, мы просим,
мелкою монеткой, быстрым блеском
из-за тучи, острым птичьим вскриком.
Только редко к нам они снисходят,

или мы достойны снисхожденья
слишком редко, в лучшие минуты,
что нам всякий раз даются даром,
где-нибудь, не там, где мы их ищем.

Затеряться среди этих веток
этих капель, этих палых листьев,
затеряться здесь, забыть начала
и концы, исчезнуть... Нет? И ладно.

Тот, кем был ты, тоже, в общем, умер.
Здесь, не здесь ли, в неосенних рощах,
он идет, с незримыми незримый,
ими навсегда прощенный тоже.

Потому и жив ты, что не держит
прошлое тебя в своих объятьях,
что ты можешь вырваться и выйти
из него на воздух и на волю.

Где-то море омывает профиль
озаренной городами карты,
весь, тобой открытый, полуостров,
убежавший из степей сарматских,

о котором ты мечтал на этих,
улицах, готовясь пробудиться.
Море бьется в скалы, в стены, в строки,
и в конце строфы, на миг, стихает.